

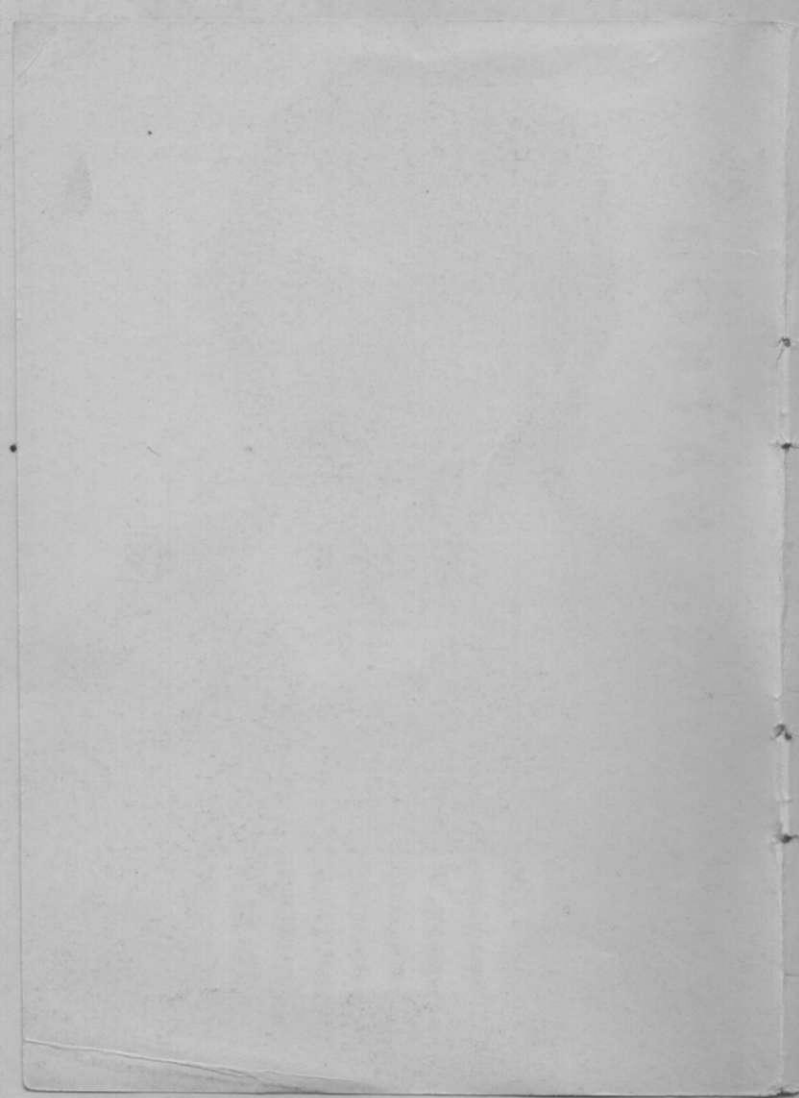
Р 2
К 29

КАТКОВ

Александр

ЧАША

стихотворения



Посвящается
доченьке моей
ДАШЕ





4092

Александр
КАТКОВ

P2
K29

ЧАША



стихотворения

№ 44840 (2)

Александр-Судженская
ЦБС
Кемеровской обл.

Кемерово
Издательство «Кузнецкая крепость»
1992

Ш/к 011835796
ЭК

15
35P

94

84.3P7
K29

К $\frac{4702010202-1}{Л 77(03)-92}$ 92

© Катков А. И., 1992

* * *

Ад крошечный, и все же — Россия.
Безнадега уже, беспредел.
Словно целый народ, обессилив,
к Богу руки в надежде воздел.

Дверь откроешь — пророки, кликуши,
медный звон пятаков, пятаков...
И не слышат оглохшие уши
плач вселенский ее стариков.

Все разрушено, пропито, продано,
ничего не осталось в душе.
Даже родина, малая родина
без присмотра осталась уже.

Где же слезы любви и прощенья?
Впрочем, лучше опять и опять
в ожидании причащенья
в винной очереди отстоять.

Чем прогневали Бога? Не знаем.
Впрочем, знаем и глухо молчим.
Потому и не с нами, не с нами
пропадает Россия в ночи.

Сколько ж можно, Всевышний, доколе?
То ли к сердцу приставить обрез,
то ли выйти в продутое поле
и прощенья просить у небес.

ПОЕЗД

Неумолимо, как виденье,
он расписание соблюдал.
В нем кто-то спал и видел деньги,
а кто-то плакал и не спал.

И каждый с Богом в несогласьи
молился Богу напоказ.
И было чинно в первом классе,
буянил пьяно третий класс.

А поезд был без машиниста
и это знал любой вагон,
но под захлеб литавров быстрых,
чугунно-бравурный разгон

в купе-квартирах распивали
привычно водку и вино
и злые песни распевали,
и было людям все равно.

1981 г.

* * *

Россия не во мгле — в очередях,
не разобрать, где глушь, а где столица.
И осеняет кумачовый стяг
моих сограждан сумрачные лица.

Россия, Русь, ну как тебя постичь?
Ужель залиться горечью и водкой,
чтоб уж тогда сумели нас постричь
одной гребенкой под одну колодку?

На всех ветрах стоишь, моя страна,
дай Бог, прожить и передюжить Смуту,
чтоб стыд и горечь исчерпав до дна,
отринуть их в последнюю минуту.

А там, дай Бог, окончится злоба,
и мы свои неслыханные боли,
стирая с окровавленного лба,
придем друг к другу с верой и любовью.

* * *

Это я, моя отчизна,
где бранятся, утром пьют,
маются о смысле жизни
и без спросу в морду бьют.

Я люблю твои надежды
на мирскую благодать,
твои нищие одежды,
те, в которых умирать.

Не люблю твоих холопов,
лижущих ладонь твою.
Бог им всем судья, но только б
ты не встала на краю.

Я один путем овражным
поташусь, судьбу гробя,
потому, что очень страшно
мне, Россия, за тебя.

* * *

Портрет Ахматовой в пивбаре
на расписном календаре.
Уж ты-то точно знаешь, парень,
какое время на дворе.

Но здесь, под звон невымытых кружек,
под мордобой и лютый крик,
зачем, скажи на милость, нужен
ее надменный, гордый лик,

где сонные, как будто мухи,
всенощный выдержав излом,
сидят дешевенькие шлюхи
в углу за «фирменным» столом.

И мне, представь, ничуть не странно,
что здесь, где грязный стол накрыт,
патрицианка Донна Анна
на нас презрительно глядит.

* * *

В бесплацкартном,
а проще — в безместном,
днем и ночью — куда захочу,
это я, молодым и безвестным,
по дорогам России лечу.

Вот лечу девятнадцатилетним,
так, что сразу теряется след.
Синяков еще нет и отметин,
искры божьей, наверное, нет.

Я лечу по дорогам отчизны,
а еще и немецкие ждут.
И российские ветлы из жизни
не на год, не на два пропадут.

Я не верю ни в черта, ни в бога,
верю в праздничность бытия.
Но каким неожиданным боком
повернется планида моя!

Ах, как горько и непрестанно
вспоминаться будет потом
промелькнувшая на полустанке
чья-то девушка с желтым флажком.

Но вернусь, наглотившись пространства
и оглохнув от стука колес.
Дым отечества,
 ветер славянства
мои щеки осушат от слез.



А в этом доме пахнет отчим домом
и карта пожелтевшая висит.
Здесь кратки дни и так прощанья долги
да так, что замерли полночные часы.

Я вас храню! Любимые до смерти,
до самой невозвратной темноты,
родители, пожалуйста не смейте
со смертью разговаривать на «ты».

Итак уже прощаний вышло столько,
что в тамбурах, ходящих ходуном,
от Лейпцига и до Владивостока
я забывал и родину и дом.

Когда-нибудь на этом свете белом
зачтутся мне стихи мои и стыд.
И я в своем стремленьи очумелом
вам так скажу, наплакавшись навзрыд:

«Но может быть, божественная Муза
меня вернет на родину, домой,
туда, где спал под картою Союза,
где не был обозначен хутор мой».

* * *

Где это время? Никто не ответит,
все поросло чабрецом и бельем.
Но просыпаюсь опять семилетним:
в комнате глаженным пахнет бельем.

И задыхаюсь от слез: неужели
снова июнь, мое детство и дом,
запах белья и хрустальные трели
птаха развесила за окном?

Нет ничего, кроме этого пенья
и подоконника в каплях росы.
Как далеко еще до ослепленья
от незаслуженной взрослой слезы!

Не довели до чернейшего сраму,
жизнь моя, если в начале твоём
так еще чисто, песенно, рано,
если поглаженным пахнет бельем.

Было и будет бессонниц немало —
пусть в изголовье незримо стоят
юный отец в гимнастерке линялой
и кареглазая мама моя.

* * *

Это родина — синие ставни,
это родина — ивы внаклон,
над которыми сирыми стаями
птицы тянутся в небосклон.

Было вдоволь и песен, и хлеба,
жизнь взахлеб и беда по плечу.
Но под этим единственным небом
я от родины мало хочу.

Я хочу, чтоб земля не скудела,
от которой и песня и хлеб,
чтобы, делая нужное дело,
не оглох я и не ослеп.

Я хочу, чтоб река не мелела,
чтоб пьянил и дурманил чабрец,
чтобы мама моя не болела
и чтоб сильным остался отец.

МАМА

Самолетом пять тыщ километров,
потом — автобусом три часа,
потом — из объятий дурманного лета
к маминым милым глазам!

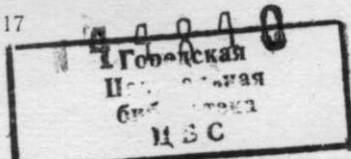
И позабыв все слова приветные,
приготовленные слова,
выдохнуть: «Моя добрая... светлая...
...Жива...»

ОТЦУ

Я проснусь —
 это яблоки сыплют со стуком
за пять тыщ километров
 в отцовском саду.
И не спится отцу.
 Что за сладкая мука
ждать мою
 запоздавшую к ночи звезду.

Ах, отец, здесь и там
 сентябри на исходе,
там и здесь
 обнажаются рощи берез.
И в какой-то разгульной,
 безумной свободе
ветер красные листья
 швыряет вразброс.

Не печалься, отец,
 не теряй в меня веры!
Люди правду рекут —
 я несправедливо жил.
Но себя раздарил я,
 наверно, без меры,
и любимым я был
 и обманутым был.



* * *

Б. Бурмистрову

Я вернулся в цветенье отцовского сада,
Божья милость моя,

мои слезы со щек!

Если завтра умру —

ничего мне не надо,

только б видеть наш сад напоследок еще.

Кем я прожил до этого в сирой юдоли?

Сыновей хоронил, голосил, мельтешил.

Но прояснилось вдруг среди погостов и боли —
я еще эту жизнь до конца не свершил.

И теперь я вернулся в цветение сада,
справедливость моя, —

я дождался тебя!

Неужели уже и тебя мне не надо,
раскричав,

разорвав напоследок себя?

Но ведь торкнулись в сердце и стали занозой
мои стылые, горькие ночи мои?

Ты прости меня, жизнь,

мои строки и слезы

отреченья

от этой кромешной любви!

Я побуду, уйду,

но и все же, и все же,
как пчела, что трудилась меж яблонь и груш,
я остаться хочу напоследок пригожим
для отпущенных

и отпускаемых душ.

ВАСЕНА

И тревожным был год, и веселым,
жутким, как удар палаша.
А казачка, бой-баба Васена
так чертовски была хороша!

Были сладки свиданья за банькой,
да в оглядку за десять дворов,
потому как миленочек в банде,
чуть светает — и будь здоров.

Эту банду в расход и запишут.
А она не уронит слезу,
чуть живого миленочка Гришу
будет прятать от ЧОНа в лесу.

А потом закопает украдкой,
где ни ворон, ни черт не сидит,
снова в хутор вернется с оглядкой
и дитя в той же баньке родит.

Память кровная — страшная сила,
нет страшнее, наверное, сил.
Когда немцы пойдут на Россию,
в полицаи уйдет ее сын.

Но воздастся снова старицей
и отродью, но главное ей.
И еще проживет она тридцать
долгих лет среди добрых людей.

Никогда не забуду на свете,
как ссутулившись у окна,
и страшней, и уродливей смерти
дожидается смерти она.

* * *

Хоть бы рубаху рвануть на груди
и заорать от непрошеной боли!
Только подумаешь — жизнь впереди.
Утренний свет замаячил бы что ли...

Раньше боялся в жизни своей
жалкой сумы да измены любимой.
Но оказалось — не слышать страшной
пенья над родиной соловьиной.

Все б хорошо, коль чужая вина,
все б ничего — от своей не умчаться.
Мама одна и отчизна одна
завтра, всегда и до смертного часа.

СТИХИ О ДОЛГАХ

Имел долги — рубли, десятки,
я должен был и там, и тут.
Но средь неписаных порядков
я знал — их все же отдают.

И отдавал, пусть с опозданием,
пусть по частям, но возвращал
и поутру свое вниманье
я на копейки обращал.

Все б ничего, но реже, реже
на родине бывалось мне.
Простите долг, друзья! Я съезжу
на хутор Зайцево к родне.

Примите, родина и мама!
Я не совсем пропал и смолк.
Простите мне мой смертный самый
и самый неоплатный долг.

* * *

Двух разгневанных рек слиянье,
лютой ненависти и любви.
Где татары и где славяне?
Своих мать и отца назови.

И припомни века такие,
когда, срезав веревкой стон,
Анастасью и Евдокию
забирали с собой в полон.

Вот и вдумайся, чьи доселе
были острые скулы твои
и на чем проросло твое семя —
на крови или на любви?

Да, в том времени, как постромки,
все сцепилось и все слилось.
Да, мы русичи, мы — потомки
конских ржаний,
пожаров
и слез.

Но — потомки Андрея Рублева,
не распятых вовек русаков,

для того, чтобы снова и снова
рвать сердца из постылых оков.

Да, действительно, рек слиянье.
Да, Настасья с искусанным ртом.
Я за вас, родные славяне,
встану с правдой и со щитом.

СВИДАНИЕ С БРАТОМ

В Новгородскую область поехал,
продав душу свою за пятак,
и бессонная память, как эхо,
побежала за ним по пятам.

Он поехал туда повиниться
за бездарные годы свои,
за стихи, за свои заграницы
и за ночи без сна и любви.

Свою жизнь в бесконечной дороге,
словно фильм, до конца прокрутил
и споткнулся на самом пороге,
улыбаясь уже что есть сил.

Только жизнь, оказалось, имела
высший смысл, долгожданный причал,
если горестно и неумело
обнимал его брат и прощал.

ДЕРЕВЕНСКИЕ ПОХОРОНЫ

На десять деревень окрест,
за теми, кто покуда живы,
рыдал задрипанный оркестр,
то спотыкаясь, то фальшивя.

Старуха Дарья померла.
Соседи свадьбу отменили.
И вот почти что полсела
пришло к развернутой могиле.

Молчали все — и стар и мал,
и каждый с горечью подспудной
себя к той жизни примерял,
где солнца нет, но также людно.

А впрочем, нет! Не к жизни той
и даже не к подобью жизни,
а к той черте пред темнотою,
что остается после тризны,

когда отринут свет и дом
и выщелк птицы безмятежной,
и музыканты под хмельком
к машине медь несут небрежно.

* * *

Еще ноябрь не наступал,
но навещал уже украдкой.
Был небосклон тревожно ал
и по утрам, как в лихорадке,

наискосок, потом вразброс
летели листья и ложились,
как будто, заходясь от слез,
рассудка начисто лишились.

Но понимали деревья,
что мы не встретимся с тобою,
что буду жив и ты жива
надеждой разной и судьбою,

что эта боль не заживет
и жизни всей уже не хватит
забыть закушенный твой рот,
твой взгляд и плечи для объятий.

РОЩА В НОЯБРЕ

Продуто, горестно в душе...
И меж ветвями, меж годами
лист на последнем вираже
еще кружит, не опадая.

И мир, продутый до краев,
гудит по-прежнему от ветра.
И запоздалая любовь
не дождалась еще ответа.

КОГДА БОЛЕЕТ ДОЧЬ

Боже милостивый,
Боже милостивый,
эту девочку пощади
и позволь мне ее как милостыню
поддержать на своей груди.

Как аукнется, так и откликнется,
виноват пред Тобою в гульбе.
Все зачтется, ничто не отринется,
но она-то зачем Тебе?

Дай пожить мне еще с надеждою,
ну а коли такой расклад,
забирай эту жизнь нездешнюю,
а другую пусти назад,

этот локон льняной по темечку
и дыхание у плеча...
Заклинаю Тебя, пусть теплится
золотая моя свеча.

* * *

На улице Красной погода красна,
рябины алеют и дочка смеется.
Все реже и реже уже удается
испить свою радость до самого дна.

Затем, что вокруг неуютное время
и хочешь — не хочешь, но сходишь с ума.
И молча становишься следом за теми,
кому суждена и тюрьма, и сума.

Но хочется верить, что жизнь не напрасна,
она как и прежде горька и права,
пока в этом мире на улице Красной
рябины алеют и дочка жива.

* * *

Я эту мысль додумаю потом.
Теперь бы мне с собою разобраться,
поставить точку, с памятью расстаться,
и пусть она летит за окоем.

Повадилась бессонница ко мне
ходить и ждать над самым изголовьем,
когда прощусь с единственной любовью,
лишь мутный свет появится в окне.

Но засыпаю, сны мои легки,
я чутко сплю и мне под утро снится
та женщина, как чистая страница,
где нет еще нечаянной строки,

нет той строки, которая насквозь
малиновою нитью жизнь прострочит
и все до мелочей мне напорочит,
до бездны, до бессонницы, до слез.

Я признаю, что виноват во всем,
но не будите, птицы, не будите.
Есть мысль одна, страшнее, чем открытье.
Но эту мысль додумаю потом.

* * *

В. К.

В твоей деревне Красный Ключ
от озерца заветного,
наверно, бьет кастальский ключ
для слова заповедного.

И там томится гордый дух,
покуда не привеченный.
Не все равно — в раю, в аду
жить Господом отмеченным?

И средь колдобин, рытвин, ям,
не сетуя, не падая,
бесстрашно бродит вольный ямб,
на небеса поглядывая.

А с тех небес крутые лбы
кивают одобрительно,
хоть ты и сам уж мог бы быть
и мэтром и учителем.

Да только лень вставать чуть свет
и поучать до вечера.
Тебе довольно, что Поэт
для мига и для вечности.

ПОКОЛЕНИЕ

Во времена тотального вранья
взошло мое лихое поколение
среди литературного воря,
всех тех, кому и горе по колено.

Мы разбивали свой вишневый сад,
забыв, что на дворе похолодало,
что этот ледящий души хлад
рванулся из заглушек и подвалов.

И вот когда пронырливым ферзям
вручали олимпийские медали,
спивались мои лучшие друзья,
летели в ночь и там же пропадали.

Мы душеньку потешили сполна,
что мы одни, что мы пока предтечи.
Но общая, одна на всех вина
уже тогда легла на наши плечи.

И все же, задержавшись на краю,
пред бездною, а не пред синей высью,
мы родину не бросили свою
поступком и разгневною мыслью.

И пусть нам на земле по тридцать семь,
но год по счастью не с такой же меткой.
А значит мы не кончились совсем,
однажды обреченные поэты.

Лишь только б не был бесполезным груз
и можно б было повториться все же:
«Друзья мои, прекрасен наш союз
и, слава Богу, быть иным не может».

* * *

Б. Л.

Мы заслужили эту жизнь,
своих неверных, но любимых,
с которыми на разных льдинах
плывем без слов и укоризн.

Но как же тянет иногда
уйти в черемуховый холод,
где ты еще почти что молод,
где жизнь почти что молода.

Но, кажется, смешенье лет
страшнее, чем кровосмешенье,
и горечь юных несвершений
все глубже оставляет след.

Но город наш, вокзал, скамья,
где мерзли мы с тобой и мокли,
как в перевернутом бинокле,
издалека их вижу я.

Мой сгнувшийся, подай мне весть!
Не вспоминай меня с укором!
Банально — в жизни нет повторов,
а есть лишь только то, что есть —

ночных черемух холода
и глубь бездонная, сырая,
откуда пристально взирает
все повидавшая звезда.

* * *

Эта ночь, как медленная — медленная река,
и в ней отражаются из неслыханной выси
белые-белые, невесомые облака
моих бессонниц и непрошенных мыслей.

Я с жизнью остался наедине,
и нет мне пощады, и нет мне прощенья отныне.
Виновен, что пел. И все же виновен вдвойне,
что эту вину сам Господь у меня не отнимет.

И мимо раздоров, людских общежитий,
суесловных и самоуверенных дней,
я проплываю, маленький и беззащитный,
на углу суденышке больничной кровати моей.

* * *

Зима устала, замерла
над крышами и над дворами,
и отражают зеркала
парящий снег в оконной раме.

И все бы вроде как всегда,
когда бы музыка сквозная
не воскрешала без труда
все то, что помню и что знаю.

Но это было так давно —
три вечности назад, три ночи.
Смотрю, как в зеркало, в окно,
воскресший узник — одиночник.

Но вот опять снега летят
и мир уже не различаем,
и, видно, этот снегопад
над этой жизнью неслучаен.

Все улеглось. И я сыграл
в бог весть какой полночной драме.
И только снег летит с зеркал,
чтобы пропасть в оконной раме.

* * *

Всю ночь весна буянила
и с крыш текло.
И до утра таранила
капель стекло.

Пусть жизнь кружилась замаято
и все же жаль,
что сдал, упавший замертво,
в сугроб февраль.

Ах, дом мой, моя улочка,
пришел ваш срок.
Но вышел в город утречком,
а под ногой — ледок.

Вот так и боль, как улица,
как этот лед,
то навсегда забудется,
то сердце рвет,

то к вечеру хохочется
от разных вин,
то ночью жить не хочется
среди руин.

Но март не может иначе —
и с крыш течет,
и каждая слезиночка
наперечет.

* * *

Значит надо пройти через это
одиночество длинных ночей,
чтоб высокое звание поэта
подтвердить всей судьбою своей.

И в свой срок за каким-то поэтом,
уходя за глухую межу,
я, быть может, когда-нибудь, где-то,
оглянувшись у входа, скажу:

«Подтверждаю: я звался любимым
самой гордой на этой земле.
Потому и ревели турбины
на моем реактивном крыле.

Я не пасынок этого века —
из глашатаев я и певцов.
Я родился и стал человеком,
что важнее, в конце-то концов.

И пока я дышу и надеюсь,
жизнь ночами безбожно кляня, —
никуда я от жизни не денусь,
если жизнь не оставит меня».

СУДЬБА

Потом это станет судьбой:
прощанье с отчизною милой,
ослепшее небо над миром,
как мамин платок голубой.
И поезд — на запад от Бреста,
сначала вокзалы, потом,
оставшись на стройках и фресках,
вся Русь пропадет за холмом.
И юность начнется сначала,
вернее, — продолжится вновь,
но с необъяснимой печалью
повенчана станет любовь
к вечерним готическим шпилям,
к домам, как древнейшим томам,
в которых изысканным штилем
смущали всеведущих дам
и Гете, сдружившийся с чертом,
и Лютер, швырнувший в него
чернильницу с явным расчетом
себя запродать самого,
но главное — утренний Лейпциг,
как праздник душе и уму,
когда ты, свободный от лекций,
спешишь на свиданье к нему,

точнее в бессонную кирху,
где пробует Мастер орган,
который рыданий и криков
пока еще не исторгал.

Ты знаешь: здесь рядом, в неволе
спит Мастер. О нет, он не спит!
Как будто на минное поле,
ступая на чопорность плит,
тыходишь с волнением и страхом,
оставив чуть-чуть в стороне
могилу безумного Баха,
не дремлющего в глубине.
Ты знаешь: вот чудо начнется,
и двери сорвутся с петель,
и сердце твое разобьется
в предчувствии страшных потерь,
когда это время растает,
едва прозвенев над тобой,
когда эта музыка станет
провиденьем,

жизнью,
судьбой.

ЛЕЙПЦИГ

Я славлю Лейпциг, маленький Париж...

Гете, «Фауст».

Гете сказал, что ты — как Париж.
Я не осмелюсь оспаривать мудрых.
В сердце ношу я немецкое утро,
пльвшее над черепицами крыш.

Знаю — твоей не найдется вины
в том, что вдали от российских проталин
в утренней жизни четыре весны
мне не по-русски в окно щебетали.

О, отторженья терновый венок!
Но почему же теперь, почему же
в память смотрю я, как в сильный бинокль,
там, где над кирхами кружатся души,

первая — бедной любимой моей
и, залетевшей русской — вторая?
если мы что-то бездумно теряем —
это уже до скончания дней.

Русскую песню хочу я сложить,
музыка есть, но все отчего-то
в песне твоя одинокая нота
зыбко, не по-славянски дрожит...

* * *

Однажды посреди пути
на полустанке одиноком
с ночного поезда сойти
и проводить мерцанье окон.

Потом в сторожку постучать,
узнать, что там едва ль откроют —
там света нет, там выпит чай
и спать легли в обнимку двое.

А ветер будет выть во тьму
за насыпью в январском поле...
И вот тогда-то я пойму,
насколько я тобою болен.

И снег, и некуда ступить...
Но я-то знал до непогоды,
что на разъезде том в степи
уже давно никто не сходит...

* * *

«Что случилось, что стряслось?
Жалость к горлу подкатила,
словно то, что раньше было
не на эту жизнь пришлось.

Словно женщина одна
не меня еще любила
и другого позабыла
и моя не здесь вина.

Жалость, жалкое из чувств,
от нее куда мне деться?
Словно я, забыв одеться,
снова в чью-то дверь стучусь.

Помню — слушали меня
и хозяева, и гости,
было весело и просто
у случайного огня.

Но погашены огни,
словно вымерли за дверью.
«Остается только верить,
«что проснутся вдруг они.

* * *

Вот и выпали снега.

Вот и выпали.

Над планетой день стоит снеговой.

Мы до донышка октябрь вместе выпили,
до сих пор хожу с хмельной головой.

Все проходит на земле,
все кончается.

Эту истину поймешь ты сама.

А пока высокий тополь качается,
от октябрьских небес без ума.

И пока живу,
надеюсь и верую,

что окончатся мои холода.

Ты была моей последней, как первую..

Я тебя не разлюблю никогда.

* * *

В самолете уснул и заплакал.
То ли горе явилось ему,
то ли голос услышал из мрака,
не звучавший еще никому.

Он когда-то весь мир вместо Бога
на несильные плечи взвалил
и всю жизнь, трепеща от восторга,
ту, единственную, любил,

что жила без него, но с любимым
у себя на втором этаже.

А его содрогались турбины
на опаснейшем вираже,

над зияющей пропастью слова,
над исчерканной бездной листа,
чтобы снова,

 снова и снова
низвергала его высота.

Все прошло. Не решились вопросы.
И летел он, низвергнутый бог,
и, глотая во сне свои слезы,
он проснуться хотел и не мог.

ХУДОЖНИК

Он жил под крышею один,
безумный гений и преступник.
И на него со всех картин
она смотрела неотступно.

Картины эти, прах и тлен,
он уничтожил до единой.
Остались стены. Но со стен
к нему рвалась непобедимо.

Он умирал и воскресал,
и — сразу дьявольская сила
по Эберт-штрассе на вокзал,
как на Голгофу, возносила.

И на вокзальных сквозняках
он ждал, объятый сквозняками,
пока с ребенком на руках
она пред ним не возникала.

Он поднимался на этаж,
где ждал в огромности студийной
пустой мольберт, бессонный страж
его любви непобедимой.

* * *

Бывает миг, когда печально
припомнишь женщину одну,
как будто лето с иван-чаем
тебе поставили в вину.

Она еще не понимала,
что ты исчезнешь навсегда,
и неумело обнимала
тебя, беспутного, когда

июнь в оранжевой рубашке
ее обманывал в лугах
и поцелуй, как ромашки,
цвели беспечно на губах.

* * *

Вот и опять ты меня завела,
юность, моя мимолетная гостья,
в сонные улочки Пятигорска,
в маленький дворик, второй от угла.

Кто это снова всю ночь простоят,
руки целуя во дворике тесном?
Чей это свет и за чьей занавеской
в полуподвальном окошке горит?

Девочка, где ты? Подай же мне весть!
Поздно. И мы не увидимся снова.
Я о тебе написал бы. Но есть
стихотворение Смелякова.

Лида, какие метели мели
здесь, по моей необъятной Сибири!
Как хорошо, что друг друга любили,
все же успели, все же смогли.

Что же еще о былом говорить,
если на сердце так пусто и ясно?
Ты потому и осталась прекрасной,
что невозможно тебя повторить.

* * *

Памяти Евг. Ж.

Как же мог о тебе позабыть я
пред бедой, доводящей до слез,
если через горнила событий
твое чистое имя пронес?

Столько было... Любовь и отчизна,
твоя смерть и такая вина,
что не хватит отныне и присно
по тебе холодов и вина.

Потому и никто не отнимет
ни в беде, ни в безумной гульбе
твое дальнейшее чистое имя,
словно эхо по мне и тебе.

Долетит вдруг среди гама и гуда,
чуть подрагивая и скорбя,
этот выдох невесть откуда:
«Как я буду жить без тебя?!»

Почему в этом мире непрочном,
где в потемках душа чуть жива,
чем угодно, но только не строчкой
надо мною витают слова?

Неужель произнес их однажды?
И о чем, и кого я молил?
Если жизнь — утоление жажды, —
эту жажду сполна утолил.

Я забыл прибалтийские сосны,
мокрый ветер и скрипы вершин,
где в два неба отпущены розно
память тела и память души.

Но какую ж должна быть разлука,
если память дотла истребя,
вновь услышать на горе и муку:
«Как я буду жить без тебя?!»

И летит, обреченный и нежный,
в полуяви ли, в полусне
из земли или, может быть, с неба
выдох твой, обращенный ко мне.

* * *

Летишь сквозь небесные вьюги,
как ангел полночный с трубой.
Моя золотая подруга,
я предан и продан тобой!

«Послушай, — кричу я, — послушай!
Лети до другого огня!
Я отдал гордыню и душу,
а большего нет у меня.

Лишь тело, никчемное тело,
да воздух, один на двоих.
Послушай, какое мне дело
до чудных обманов твоих?»

А ты сквозь небесные вьюги
летишь с побелевшим лицом
и ждешь, что возьму на поруки
тебя перед чистым листом.

* * *

Какие годы пролетели,
как быстро молодость прошла!
И за вселенские пределы
ушла бессонная душа.

А я любил своей любовью
тебя у счастья на краю.
Я был готов судьбой любую
испытать бессонницу мою.

Пусть, как на свалке, среди мусора,
я жил, устав от немоты.
Но, как пленительная музыка,
всю жизнь во мне звучала ты.

* * *

Памяти сына.

Ты встал пред Богом за мои грехи,
звоночек мой, последняя отрада.
Как страшно там, в том царствии глухих,
где нет ни справедливости, ни правды.

И здесь черно. И здесь просвета нет.
Уходит май, как жизнь твоя, на убыль.
Не для тебя весь этот черный свет —
не потому ль ты сжал упрямо губы?

Конец весны. Какие холода.
И коли так, и коли нет повтора,
ты там не просыпайся никогда —
иначе мир свихнется от укора.

Ему и так приходится брести
с погоста спотыкающимся нищим.
Конец весны. Торопится могильщик.
Конец всему. Прости меня, прости!

Как душно на земле и в небесах,
и вечность липко мне течет за ворот.
Но губ твоих черемуховый холод
никак не тает на моих губах.

* * *

Мой поцелуй накрыли крепом гроба,
чтоб краткий миг любви сменило время тризн.
И тень холма земли сырой,
а после тень сугроба
легли отчетливо на праведную жизнь.

Гляжу назад — погосты да могилы...
О, родины моей печальные холмы!
Ну, как хранить остатки прежней силы
и как не пасть до нищенской сумы?!

Продуто в сердце, прибрано и ясно.
Но, эта жизнь, ответь же — почему
ты так невозмутима и прекрасна,
когда уходим от тебя во тьму?

* * *

Приснилось — мой сын подаянье просил,
а я в этом сне обреченно немею...
И надо кричать: « Что ты делаешь, сын?! » —
но я не могу говорить, не умею.

Глазами тянись, аистеныш, к тебе,
но что тебе сон мой в застуженном доме?
Озябший, в отцовской жестокой гульбе,
стоишь и протягиваешь ладони.

* * *

Поисчеркано бумаги,
жизнь ушла за половину...
И душа, как падший ангел,
возвращается с повинной.

Может — ладно? Может — хватит?
Жить жестоко и угрюмо?
На гостиничной кровати
о Душе пора подумать?

Что печалиться о славе,
о ее шипах и розах?
Может, проще — не лукавя,
говорить презренной прозой?

Только как сказать о жизни
повседневно и небрежно,
если подступали тризны,
сумасшествия, надежды

и озноб, мороз по коже
среди кромешности и света...
Но, как выяснилось позже,
не напрасно было это.

Средь жестокого раздора
в этом времени прекрасном
слезы горя и позора
тоже были не напрасны.

Ведь не только в мелкотемье
жизнь прошла непоправимо,
как протяжное гуденье
поездов, летящих мимо.

И живу, живу покуда
до пределов, крайних сроков,
где душе и вправду будет
одинок, одиноко...

* * *

«Только бы не умереть до утра!»
Вечная, как человечество, фраза.
Жизнь моя, краткая проба пера,
до темноты, до последнего раза.

Сколько же раз проверять на излом
душеньку, бедную босоножку,
слишком жестоким моим ремеслом,
денно и ночью, сколько же можно?

Это же я застыл на краю,
дни и ошибки печально итожа
и, выпуская планиду свою,
хоть напоследок, но выдохнул все же:

«Вот и закончена проба пера.
Выпита чаша. Погашены свечи.
Только бы не умереть до утра!
Мне перед Богом отвечать нечем».

СОДЕРЖАНИЕ

«Ад крошечный, и все же — Россия...»	5
Поезд	7
«Россия не во мгле — в очередях...»	8
«Это я, моя отчизна...»	9
«Портрет Ахматовой в пивбаре...»	10
«В бесплацкартном, а проще — в безместном...» .	11
«А в этом доме пахнет отчим домом...»	13
«Где это время? Никто не ответит...»	14
«Это родина — синие ставни...»	15
Мама	16
Отцу	17
«Я вернулся в цветенье отцовского сада...»	19
Васена	21
«Хоть бы рубашку рвануть на груди...»	23
Стихи о долгах	24
«Двух разгневанных рек слиянье...»	25
Свидание с братом	27
Деревенские похороны	28

«Еще ноябрь не наступал...»	29
Роща в ноябре	30
Когда болеет дочь	31
«На улице Красной погода красна...»	32
«Я эту мысль додумаю потом...»	33
«В твоей деревне Красный Ключ...»	34
Поколение	35
«Мы заслужили эту жизнь...»	37
«Эта ночь, как медленная — медленная река...»	39
«Зима устала, замерла...»	40
«Всю ночь весна буйнула...»	41
«Значит надо пройти через это...»	42
Судьба	43
Лейпциг	45
«Однажды посреди пути...»	46
«Что случилось, что стряслось?...»	47
«Вот и выпали снега...»	48
«В самолете уснул и заплакал...»	49
Художник	50
«Бывает миг, когда печально...»	51
«Вот и опять ты меня завела...»	52
«Как же мог о тебе позабыть я...»	53
«Долетит вдруг средь гама и гуда...»	54
«Летишь сквозь небесные вьюги...»	55
«Какие годы пролетели...»	56
«Ты встал пред Богом за мои грехи...»	57
«Мой поцелуй накрыли крепом гроба...»	58
«Приснилось — мой сын подаянье просил...»	59
«Поисчеркано бумаги...»	60
«Только бы не умереть до утра!...»	62

Литературно-художественное издание

Катков Александр Иванович

Чаша

стихотворения

Редактор **Б. В. Бурмистров**

Художник **В. П. Кравчук**

Технический редактор **Г. Н. Манохина**

Сдано в набор 06. 11. 92 г. Подписано к печати 17. 12. 92 г. Формат 60×84 1/32. Бумага офсетная. Гарнитура Литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 1,86. Усл. кр.-отт. 1,92. Уч.-изд. л. 1,55. Тираж 2000 экз. Заказ 2260. Цена договорная.

Издательство «Кузнецкая крепость»,

650099, Советский пр-кт, 40.

Типография УВД.

НОВАЯ ЦЕНА

35 КОП.



КЕМЕРОВО

«КУЗНЕЦКАЯ КРЕПОСТЬ»

Технический редактор Т. И. Мещеряков
Корректор В. И. Корольков
Редактор В. В. Воронцов
Средняя редакция 10. 11. 51 г. Технический редактор
и 10. 11. 51 г. Формат 63x94 1/16. Печать 40-
страничная. Тираж 1000 экз. Цена 35 коп.
Изд. № 100. Удмурт. 2000 экз. Цена 35 коп.
Издательство «Кузнецкая крепость»
650000, Кемерово, Советский район, 40
Телефон 3444